

## Гоголь и Герцен в 40-е годы («Выбранные места из переписки с друзьями» и «С того берега»)

Н. В. Гоголь и А. И. Герцен, современники, — во многом антиподы. Их имена редко стоят рядом как близкие и тем более родственные. Неодолимо все их разделяют характер связи с эпохой, а также соотношение идеологического и эстетического в творчестве. В одном из писем к В. А. Жуковскому (декабрь 1849 г.) Гоголь отметил: «Шевырев пишет рецензию (на перевод Жуковским «Одиссеи». — Е. А.) ... но никакие рецензии не в силах засадить нынешнее поколение, обмороченное политическими брожениями, за чтение светлое и успокаивающее душу» [2, т. 14, с. 156]. В гоголевской как будто констатирующей фразе — безусловно негативная оценка. Политическое брожение может лишь обморочить. Идейное, политическое содержание жизни — не просто центральное, основное для Герцена, оно и есть жизнь Герцена, почва и стимул его мысли. Гоголь — художник «durch und durch», по определению К. Аксакова, художник насквозь; Герцен, как сразу уловил чуткий Белинский, — прежде всего мыслитель.

Однако 40-е годы, особенно их вторая половина, не только разводили несходные мнения, углубляя разность (происходит окончательное размежевание деятелей славянофильского и западнического направления, выявляется невозможность соглашения между сторонниками и противниками натуральной школы), но и обнаруживали в борьбе, в полемике подчас неожиданные точки схождения или просто пересечения. Так, вопрос о настоящем и будущем России, ставший к этому времени одним из центральных в общественном сознании и вовлекший в орбиту споров людей самых разных общественных устремлений, обнаружил, например, определенное сходство позиций или, во всяком случае, поисков славянофилов и декабристов (показательны сибирские статьи М. А. Фонвизина, Н. А. Бестужева и др., в которых затрагивался вопрос об общине), а известно, сколь полярны были взгляды одних и других.

В этот период не только зарождались новые социальные и эстетические явления, но и совершались мировоззренческие переломы, влекущие за собой как кризисы, так и творческие открытия. Эти годы стали переломными для Гоголя и Герцена, хотя, конечно, различны причины и природа перелома. Гоголь к началу 40-х годов вышел на путь поисков нравственного совершенствования, и начинавшееся десятилетие — период сложных исканий, при которых неизменным осталось гоголевское желание найти точки сближения в «строении» своего характера с духовным строением любой другой личности. Духовная драма Герцена, как известно, порождена глубочайшим ра-

зочарованием в итогах французской революции 1848 г., и мир в это время менее всего представлялся ему неким единством, в котором люди могут быть объединены готовностью к нравственному преобразению. Творчество Гоголя и Герцена в 40-е годы если не диалогично, то взаимодополняюще. Внутренняя, неосознанная полемика, а также вдруг обнаруживающееся сближение пробуждены и заострены спецификой исторического момента.

Тема может быть рассмотрена в разных аспектах. В свое время Ап. Григорьев справедливо отметил принципиальную разность авторской позиции в книге Гоголя «Выбранные места из переписки с друзьями» и в романе Герцена «Кто виноват?» [3]. Современные исследователи прокомментировали присутствие в письмах и статьях Герцена гоголевских мотивов и образов [4; 5]. Предметом сопоставительного анализа могут быть идейная позиция, взаимовосприятие, близость или контрастность художнического мироощущения и художественного мира. В данном случае избирается идейная позиция Гоголя и Герцена (в основном во второй половине 40-х годов) и преломление ее в произведениях названного периода.

1847—1848 гг. для Гоголя — время очередных итогов, годы после выхода в свет «Выбранных мест из переписки с друзьями». Писатель вынес свои идеи духовного преобразования в мир, мог видеть, как они были восприняты. Объективно это совпало со временем французской революции. Менее всего Гоголя занимала идея революционного преобразования, но, возможно, есть некая историческая закономерность в том, что эти события (как будто совсем не равновеликие по общественному резонансу) совершались практически одновременно. Более того, гоголевская книга по-своему предвляла историческое масштабное событие. Вопреки убеждению, что писатель не вправе выносить на суд публики свои размышления, если он еще только «строится и создается в характере», Гоголь буквально спешил с изданием книги. В этом — своеобразная внутренняя, творческая потребность включиться в живой, разнообразный, противоречивый ход жизни; в этом — попытка обратить человеческое сознание не только на событие, течение истории (данная эпоха насыщена событиями), движение массы, но и на отдельную человеческую личность, придать исторический вес ее слову, сознанию и состоянию (поэтому «Выбранные места...» начинаются с Завещания, сугубо личного слова). И это не герценовский «человек, случайно попавшийся на дороге истории», неизбежно преломивший ее в себе, это человек, который интересен даже безотносительно к тому, коснулась ли его история. Гоголь в «Выбранных местах...» сблизился с натуральной школой чуть ли не больше, чем в «Шинели», с которой связывали начало или одно из начал нового направления: названия писем-глав свидетельствуют об этом — «Женщина в свете», «Что такое губернаторша», «Русский помещик», «Занимающему важное место». Но одновременно Гоголь и разошелся с натураль-

ной школой более всего. Каждый персонаж его книги принципиально, акцентированно типичен, и каждый призван отыскать в этой типичности, устойчивости жизни собственное, не подвластное воздействию среды место — и возвести это в типичность нового, высшего плана. Гоголь, искавший монашества, обретавший в вере некий абсолют духовности, гораздо более открыт (хотя и как бы неожиданно для себя) настроениям, веяниям времени. В эти годы высказано признание: «Взгляд мой на современность только что проснулся» [2, т. 13, с. 384].

В 1848 г. Гоголь каким-то интуитивно-художническим прозрением высветил эту сложную эпоху. Он писал Н. Ф. Павлову, откликаясь на его письма по поводу «Выбранных мест...»: «Когда я пробежал сам свою книгу по возвращении, я был испуган ею, не мыслями и не идеєю, но той чудовищностью и тем излишеством, с которым многое было выражено ... Есть какой-то дар преувеличения, есть какое-то беспокойствие в нашем времени. Головы всех не на месте. Может быть, от этого самого и истина ищется более, чем прежде. Это переходное состояние, в котором находится настоящая эпоха, совершается и в каждом человеке, особливо в том, который идет вперед» [2, т. 14, с. 82—83]. В переходное время «истина ищется более, чем прежде». Гоголь искал ее в самососредоточении, обостренном личном переживании момента. Но совершенно неизбежными оказались пересечения с другими, идейно принципиально иными, поисками истины.

Фраза одного из гоголевских писем — почти герценовская: «Какое убийственно-нездоровое время и какой удушливо-томительный воздух» [2, т. 14, с. 78]. Однако это фраза сугубо личная, без метафорической-идеологических переносов, как у Герцена. Речь шла об июльской-идеологической духоте, холере вокруг, тягостном личном состоянии. Но характерно, что гоголевская натура так болезненно реагировала на эту летнюю беспощадность, чуть ли не прозревая в ней некое проявление исторических драм и катаклизмов. С. П. Шевыреву: «Время стоит невыносимо знойное. Дождей ни капли. Жары удушают и несут болезни. Солнце и палящие ветры сожгли землю и весь хлеб. Никто не запомнит такого времени» [2, т. 14, с. 80—81]. Текст (как будто невольно для автора) приобретает метафорическую насыщенность. Осенние письма Гоголя это подтверждают. В сентябре, непосредственно откликаясь на слухи о французской революции, Гоголь писал А. С. Данилевскому: «В Петербурге я успел увидеть Прокоповича ... и Анненкова, приехавшего на днях из-за границы. Все, что рассказывает он, как очевидец, о парижских происшествиях, — просто страх: совершенное разложение общества. Тем более это безотраднo, что никто не видит никакого исхода и выхода и отчаянно рвется в драку, затем, чтобы быть только убиту. Никто не в силах вынести страшной тоски этого рокового переходного времени...» [2, т. 14, с. 87]. У Гоголя в данном случае нет однозначной политической характеристики. Нет слов о политической обмороченности. Есть харак-

теристика общего состояния, чувства жизни в данный исторический момент. «Никто не в силах вынести страшной тоски... рокового переходного времени».

Лето-осень 1848 г. — роковое переходное время и в сознании Герцена, непосредственно наблюдавшего французские события. Его характеристики, естественно, с гоголевскими не совпадали, но все-таки поразительно близки. «Духота, тягость, усталь, отвращение от жизни — распространяются с судорожными попытками куда-то выйти»; «Все мельчает и вянет на истощенной почве...» [1, т. 6, с. 57]. Вспомним гоголевское из «Выбранных мест...»: «Все мельчает и мелеет...» [2, т. 8, с. 416].

40-е годы и для Герцена (до отъезда за границу) — время напряженнейших внутренних размышлений, самопознания, отыскания новой связи с современной жизнью. Его дневник 1842—1845 гг. тем и отличается от писем 30-х годов, что он в равной мере обращен к собственному «я» и к духовному бытию России и Европы той поры. Дневник Герцена и письма Гоголя 40-х годов во многом контрастны. Гоголь-писатель искал то абсолютно новое творческое состояние, которое позволило бы переменить искусство в целом; он буквально менял свою человеческую природу. Это очень явственно именно в письмах 40-х годов. Гоголь в себе пытался создать тот образец чистейшей духовности, который, освобожденный от плоти жизни, был бы одинаково приемлем всем (так же, как отшельничество, святость не признают разницы социальной, физической, интеллектуальной и пр.). Но именно эта интенсивность духовного напряжения и позволяет услышать, почувствовать время. В дневнике Герцена также запечатлелся процесс строения, но это строение мыслителя и, следовательно, совсем иное. Герцену не представлялось необходимым переделывать свою человеческую природу. В 30-х годах, в письмах к Н. А. Захарьиной, Герцен как бы избыл, прожил в полной мере процесс духовного самоуглубления. Сложность, напряженность внутренней перестройки Гоголя — быть может, проявление постоянной потребности художника «durch und durch» в мысли и свидетельство драматической сложности соединения этих начал. Гоголь первым открыл драматичность такого соединения, которая в дальнейшем в полной мере была подтверждена творчеством Л. Н. Толстого, Ф. М. Достоевского и др.

Герцен, прежде всего мыслитель, обладал способностью аналитического отстранения от неправильного хода жизни. В данном случае, конечно, не имеется в виду сторонняя наблюдательность. Герцен свое время лично пережил. Чуть ли не любой отрывок его не только публицистических, но и философских работ может это подтвердить. «Иногда без всякого внешнего побуждения, без всякой причины со дна души поднимается какая-то давящая грусть, которая растет, растет, и вдруг сделается немая, жестокая боль и так станет ясно все дурное, все трагическое нашей жизни; готов бы умереть, кажется» [1, т. 2, с. 226]. Достаточно вспомнить и другие, очень известные

слова Герцена: «Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования...» [1, т. 2, с. 226]. И все же «трагическая сторона» существования Герцена была по-своему неизмеримо легче гоголевской, ибо ужас и трагизм существования людей герценовского круга — это ужас исторической неосуществленности (что к самому Герцену, кстати, не относится), совершающийся не по их вине. Гоголевский драматизм — в осознании непреодолимого личного несовершенства, которое влечет за собой несовершенство всей жизни.

Герцен не раз отмечал в дневнике, что человек не вправе ограничивать себя личным («Лучшие, святейшие отношения, индивидуализируясь и углубляясь в одном личном, грозят страшными ударами» [1, т. 2, с. 276]). Герцен умел отводить от себя эти «страшные удары» (отношения с Натальей Александровной — достаточно показательное тому подтверждение). Он всегда любую проблему разрешал, выбрав свою точку отсчета для творчества и жизни. Гоголь же, чувствуя недостаточность уже обретенных измерений, на каждой ступени жизненного и писательского пути искал новые. Приоритет общего он уже духовно пережил. И общий строй русской жизни в данный момент («вся Россия — один человек» [2, т. 8, с. 417]) мыслился как ожидаемая, длительно подготавливаемая ступень, выстраиваемая не только общественным деятелем, мыслителем, но и каждым человеком. В произведениях 40-х годов Гоголь утверждал такое «строение» жизни.

Если «Выбранные места...» хронологически предваряют французскую революцию 1848 года, то книга Герцена «С того берега», написанная в 1849 г., шла буквально по ее следам. Книги о разных странах и разных событиях, но, в сущности, об одном историческом моменте, о современности, роковом переходном времени. Художник и мыслитель как будто менялись местами. Гоголь собирал конкретные сведения, факты о данном моменте русской жизни и в повествовании создавал иллюзию аналитического взглядывания в жизнь. А Герцен восклицал: «Где тут описывать, собирать сведения, обсуживать!... Какие тут описания, мозг слишком воспален, кровь слишком остра» [1, т. 6, с. 40—41]. На самом деле и у Гоголя «мозг воспален», иначе не появились бы слова: «Стонет весь умирающий состав мой» [2, т. 8, с. 221]. Обе книги — одна о Западе, другая о России — написаны на некоем пределе. «Стонет умирающий состав мой» в предчувствии катаклизмов, которыми разрушается устойчивость, слаженность жизни, и «состав» человека противится разрушению. Писатель познает это разрушение как будто впервые.

Во втором томе «Мертвых душ» Тентетников задумал сочинение, которое должно было «обнять всю Россию со всех точек зрения — с гражданской, политической, религиозной, философической» [2, т. 7, с. 11]. Сочинение лишь начато. Не очень акцентированная, но явственная авторская ирония сразу броса-

ется в глаза. А ведь вся литература и философия первой половины XIX в. пытались «обнять» Россию именно с этих точек зрения: гражданской, политической, религиозной, философской. Гоголь ощущал исчерпанность всех прошлых систем, поэтому в «Выбранных местах...» пытался найти нечто совсем иное.

Бессилие прежних слов суждено было видеть и Герцену. Он наблюдал, как в июньские дни в Париже слово и действие терпели поражение. «Париж стал принимать обычный вид, толпы празднующихся снова явились на бульварах, нарядные дамы ездили в колясках и кабриолетах *смотреть* развалины домов и следы отчаянного боя...» [1, т. 6, с. 43—44]. Вспомним, кстати, дам, которые приехали смотреть на казнь казаков в «Тарасе Бульбе». Вот почему «я состарился» — у Герцена [1, т. 6, с. 42]; «Боже! пусто и страшно в твоём мире!» — у Гоголя [2, т. 8, с. 416].

Идейные разногласия в 40-х годах потому столь остры и непримиримы, что чужое мнение и вопросы, в сущности, никогда не были вполне чужими. Они слишком затрагивали свои, непосредственно с ними соприкасались.

Конечно, «Выбранные места...» и «С того берега» — книги разных идейных «берегов». Неодолимым всего разводила Герцена и Гоголя способность первого признать необходимость полного отрицания («Мир, в котором мы живем, умирает ... чтоб легко вздохнуть наследникам, надобно его похоронить» [1, т. 6, с. 22]). «Духота, тягость, усталость, отвращение от жизни» — состояние и мира, и человека, аналитически осмысляющего мир. В герценовской книге автор, осознавший, что «после таких потрясений живой человек не остается по-старому», из двух итогов («блаженство безумия» и «несчастье знания») избирает последнее. «Я избираю знание, и пусть оно лишит меня последних утешений, я пойду нравственным нищим по белому свету, — но с корнем вон детские надежды, отроческие упования!» [1, т. 6, с. 44].

Герцен, в сущности, сохранил внутреннюю цельность, его отрицание — отрицание вне себя. При всей видимости «примирения», принципиальном утверждении примиряющей функции искусства, считающий важным сохранить «детские надежды и отроческие упования», если воспользоваться герценовским выражением, Гоголь едва ли не более, чем Герцен, пытался осуществить своей книгой преобразование человеческой природы. В его книге — своеобразное отрицание «ветхого человека» в целом, а не только в конкретный исторический момент. Потому, вероятно, что отрицание было универсальнее, виделась абсолютная необходимость в равновеликом, примиряющем начале, каковым объявлялось искусство.

Не потому ли, что Гоголь и Герцен так неожиданно близко сходились и так кардинально распадались, они не только заинтересованно, но и пристрастно относились друг к другу. Показательно, что примиряющую миссию пытался выполнить Гоголь (см. его письма к П. В. Анненкову от 7 сентября 1847 г.

и А. А. Иванову от 14 декабря 1847 г.). Немалая похвала в его устах — «О нём люди *всех партий* отзываются как о благороднейшем человеке» [2, т. 13, с. 385]. Гоголя чрезвычайно интересовал этот «благородный и умный человек» [2, т. 13, с. 408]. Его огорчил дошедший до него в 1851 г. резкий отзыв Герцена о «Выбранных местах...»

Определенные идеологические пересечения и интерес Гоголя к Герцену обусловили, вероятно (хотя это могло идти и параллельно), и некоторые переключки второго тома «Мертвых душ» и романа «Кто виноват?» — принципиально различных произведений. Сходны и даже близки размышления о «науке жизни», неиспользованных человеческих силах. Выстраивание системы персонажей во втором томе обнаруживает некоторую общность с диалогическим конфликтом в романе (Костанжогло высвечен неоднозначно соседством с Кошкаревым и Хлобуевым).

Гоголю хотелось, чтобы все люди шли к одному, как бы ни были различны дороги: «Один стремится к тому путем религии и и самопознания внутреннего, другой — путем изысканий исторических и опыта (над другими)» [2, т. 13, с. 382], — это почти о себе и Герцене. Но он же замечал: «...Мы все идем к тому же, но у всех нас разные дороги, а потому, покуда еще не пришли, мы не можем быть совершенно понятными друг другу» [2, т. 13, с. 382]. В контексте одного исторического периода Герцен и Гоголь не могли быть вполне понятными друг другу, более того, их позициями определялась и будущая разность идейных, гражданских исканий в русской истории. Пожалуй, явственнее всего неслиянность Гоголя и Герцена проявляется в следующих словах-убеждениях. Объясняя свое решение остаться на Западе, Герцен писал: «Я ни во что не верю здесь... Зачем же я остаюсь? Остаюсь затем, что борьба *здесь*, что несмотря на кровь и слезы, здесь разрешаются общественные вопросы, что здесь страдания болезненны, жгучи, но *гласны*, борьба открытая, никто не прячется ... За эту открытую борьбу, за эту речь, за эту гласность — я остаюсь здесь» [1, т. 6, с. 12—13]. И Гоголь: «Не бежать на корабле из земли своей, спасая свое презренное имущество, но, спасая свою душу, не выходя вон из государства, должен всяк из нас спасать себя самого в самом сердце государства» [2, т. 8, с. 344].

В самой принципиальной невозможности слияния этих позиций был немалый драматизм. Был и тот общественный накал, пафос мысли, столь свойственный русским писателям. ,

1. Герцен А. И. Полное собрание сочинений: В 30 т. М., 1954—1961. Курсив Герцена 2. Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: В 14 т. Л., 1940—1952. 3. Григорьев А. А. Собрание сочинений. М., 1916. Вып. 8, 4. Розин А. Г. Герцен и русская литература 30—40-х годов XIX века. Краснодар, 1976. Смирнова Е. А. Герцен и Гоголь (К истории цикла «Капризы и раздумья») // Проблемы изучения Герцена. М., 1963.

Статья поступила в редколлегию 10.10.88